Среди книг

Издано в СССР

СОКРОВИЩНИЦА РУССКОГО ПЕРЕВОДА

Зарубежная поэзия в переводах В. А. Жуковского. Тома 1—2. Составление А. Гугнина. Москва, «Радуга», 1985.

Было время — и не столь уж давнее,—когда над наследием Жуковского тяготела некая полуопала. Из статьи в статью, из монографии в монографию переходил один и тот же бледный и бескровный призрак «тишайшего Василия Жуковского» (как его именовали некоторые исследователи) — обожателя царей, радетеля престола и стародавнего благочиния, бесплотного мечтателя, платонически вздыхавшего об утраченной возлюбленной. Не все в этом облике было ложью, но бывает полуправда, которая хуже заведомой лжи. Историческая ограниченность Жуковского в подобных исследованиях явно преувеличивалась и затмевала его исторические заслуги. Ныне творческий гений Жуковского как бы предстал в новом освещении. Отрадные свидетельства тому — книги о Жуковском Майи Бессараб и В. Афанасьева (она вышла недавно в серии «Жизнь замечательных людей»). В этом же ряду сразу заняло свое место и новое двухтомное собрание переводов поэта.

К концу XVIII века, накануне дебюта Жуковского русская литература все еще отставала от литератур Запада: жесткие каноны классицизма уже были ей тесны, но власть их была велика. И неудивительно: в то время даже при просвещенной государыне Екатерине II государственная власть все же чинила преграды живому духовному общению России с литературами Запада. Обновление пришло с неожиданной стороны — через переводы Жуковского. Он мощно раздвинул духовные горизонты русской словесности, преобразил словарь русской поэзии, ее художественный арсенал и ритмы, органически приобщив ее к творчеству Гёте и Шиллера, Голдсмита и Вальтера Скотта, Байрона и Томаса Мура. В переводах Жуковского были явлены новые жанровые открытия: до его переводов Россия, например, почти не знала баллады. Наконец, Жуковский подготовил своими переводами явление Пушкина и всей пушкинской плеяды, создав новый, необычайно живой и гибкий литературный язык.

Но и этим не исчерпывается значение Жуковского. Он был убежденным приверженцем творческого перевода, смелого «соперничества» с оригиналом. Благодаря его изобретательности, чуткости к новым ритмическим формам, его переводы очень часто опережали время, пролагая пути русской поэзии будущего. Обратим внимание на перевод баллады Роберта Саути «Суд божий над епископом»:

Были и лето и осень дождливы;
Были потоплены пажити, нивы;
Хлеб на полях не созрел и пропал;
Сделался голод; народ умирал.

Как тонко подметил талантливый историк литературы Цезарь Вольпе, погибший в годы войны, Жуковский здесь как бы предвосхищает «Несжатую полосу» Некрасова:

Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился, поля опустели...

Может быть, самый знаменитый перевод Жуковского — «Шильонский узник» Байрона. Еще Белинский писал о нем: «Каждый стих в переводе «Шильйонского узника» дышит страшной энергией... Здесь в первый раз крепость и мощь русского стиха явилась в колоссальном виде и до Лермонтова

более не являлась». Особое мужественное звучание четырехстопных ямбов достигнуто тут четким выделением ударных слогов, которые завершают каждую строку (так называемая «мужская рифма», выдержанная на всем протяжении поэмы), создавая впечатление неослабевающей напряженности. Этот стих «Шильонского узника» воскрес в поэме Лермонтова «Мцыри». Воздействие Жуковского на русскую поэзию продолжается и дальше — вплоть до Бальмонта и Блока.

Еще менее замечено, что переводы Жуковского нередко обогащали русскую поэзию новой и важной для первых десятилетий XIX века общественной проблематикой. Вряд ли это происходило сознательно. Известно, что, восхищаясь Байроном, Жуковский в то же время был несколько встревожен его бунтарским духом и простодушно желал английскому поэту «более религиозных идей», необходимых, по его мнению, для человеческого счастья. Но свойственная Жуковскому-переводчику глубокая увлеченность оригиналом оказывалась сильнее его предубеждений. В его переводах часто возникают темы и сюжеты просто немыслимые в его собственном творчестве. В «Опустевшей деревне» Голдсмита, изображавшей страдания и бедствия разоренных крестьян, русский читатель находил близкие и понятные ему тревоги. В некоторых переводах Жуковского прославляется суровое возмездие неправедным властителям («Три песни» Уланда или тот же «Суд божий над епископом»), причем художественная впечатлительность Жуковского была столь сильна, что в переводе из Уланда тема праведного гнева и возмездия многократно усилена по сравнению с оригиналом.

Новое — и во многом, как мы увидим, уникальное — издание переводов Жуковского является ярчайшим свидетельством творческой мощи поэта, которого Пушкин называл «гением перевода», и редкостного разнообразия его духовных интересов, того «радушия благоволенья», которое зорко подметил Тютчев, посвящая стихи памяти поэта.

Переводы Жуковского собраны воедино, продуманно распределены по странам и авторам, и главное, начиная с Гомера и Вергилия, печатаются вместе с оригиналами. Это делает издание незаменимым не только для исследователей и любителей поэзии, но и для молодых филологов, открывающих для себя мир науки и искусства, для начинающих свой путь поэтов и переводчиков. Мы и сами при этом как бы входим в мастерскую Жуковского, пристально следя за его переводческой работой. Готовивший это издание А. А. Гугнин (ему принадлежит краткая, но содержательная статья и значительная часть комментариев) проявил здесь и глубокие познания, и подлинную увлеченность.

Наследие Жуковского-переводчика почти необозримо, и даже в двухтомном издании необходим был известный отбор. Сюда не вошли, в частности, вольные переводы Жуковского из восточной — индийской и иранской — поэзии. Однако красочная поэтическая панорама двухтомника достаточно обширна. Здесь и поэты Эллады и Рима (отрывки из «Илиады», «Одиссеи» и «Метаморфоз» Овидия), и прославившие Жуковского «Сельское кладбище» Грея, «Замок Смальгольм» Вальтера Скотта, уже упомянутые баллады Р. Саути и «Шильонский узник». Здесь и немецкие поэты: Клопшток, Бюргер, Гёте, Уланд и австриец Цедлиц со зловещей романтической балладой «Ночной смотр». Мы можем оценить также выполненные Жуковским ранние переводы из лирики испанского Возрождения (Сервантес, Лопе де Вега) и таких французских поэтов, как Парни и Мильвуа, позднее увлекавших лицеиста Пушкина. Переводы Жуковского из Гёте, Шиллера, Бюргера вписали новую главу в историю русской литературы. Известна бурная дискуссия о переводе бюргеровской «Леноры», в которой приняли участие Гнедич и Грибоедов и о которой почти двадцать лет спустя вспоминал Пушкин. У истоков русской баллады стоят переводы из Шиллера: «Ивиковы журавли», «Поликратов перстень», «Рыцарь Тогенбург», «Элевзинский праздник» и другие. С подлинным вдохновением воссоздал Жуковский в них свойственное Шиллеру сочетание эпической мощи с неослабевающим драматизмом. Известно, что в наше время появились переводы баллад Шиллера, которые стоят ближе к оригиналу. Лозинскому и Заболоцкому удалось передать и те черты оригинала, которые Жуковский, руководствуясь эстетическими понятиями своего времени, сознательно смягчал или устранял. Таковы жестокие, варварские черты античности, запечатленные в «Поликратовом перстне», или четкая наглядность описаний в «Ивиковых журавлях». Но это не умаляет исторической заслуги Жуковского, тем более что его переводы покоряют нас и до сих пор не только гармонией стиха, явно предвосхищающей Пушкина, но и могучей, доныне непревзойденной силой, с которой поэт передал глубочайшую человечность Шиллера:

Ты ль, Зевесовой рукою
Сотворенный человек?
Для того ль тебя красою
Олимпийскою облек
Бог богов и во владенье
Мир земной тебе отдал,
Чтоб ты в нем, как в заточенье
Узник, брошенный, страдал?

Гуманизм Шиллера и его вдохновенного истолкователя Жуковского отнюдь не стал музейной реликвией. С необычайной силой звучат для нас трагические строфы «Элевзинского праздника», воскрешающие кровавые первобытные времена:

Плод полей и грозды сладки
Не блистают на пирах;
Лишь дымятся тел остатки
На кровавых алтарях...

Это — как бы предостережение людям иного века, которые не должны допустить новых «кровавых алтарей», новой братоубийственной бойни. Несравненная мелодичность стиха Жуковского, венцом которой является его баллада «Эолова арфа», выразилась в его переводах из лирики Гёте («Утешение в слезах», «К месяцу»).

Перевод всегда существует в сложном контексте национальной культуры, он не может не меняться вместе с ней. После-

дующие поколения поэтов, начиная уже с младших современников Жуковского — Тютчева (связанного с ним тесной дружбой и с восторгом слушавшего перевод «Одиссеи» в чтении самого Жуковского) и Веневитинова,— исповедовали во многом иные принципы перевода, но золотая нить той традиции, которую с таким упорством прял Жуковский, не оборвалась и, непрерывно обновляясь, дошла до нашего столетия. Блок и Лозинский, Пастернак и Тынянов, как и еще совсем живые в нашей памяти Левик и Гинзбург, продолжали — в широком историческом смысле — дело Жуковского. Было бы непростительным заблуждением замыкать наследие Жуковского на прошлом, относиться к нему как к архивному достоянию. Достичь величия Жуковского — задача вряд ли возможная, но его пример должен вдохновлять всех, кто честно и ответственно приступает к труднейшему делу поэтического перевода.

Г. РАТГАУЗ

Издано за рубежом

ВЕНГРЫ ВСПОМИНАЮТ

Поначалу я намеревался порассуждать на тему о том, что́ сейчас читают венгры. Мгновенный ответ подворачивается чересчур легко: ничего не читают. Некогда им читать. Даже по неполным статистическим данным, четвертую часть всего времени, отведенного на общественно полезный труд, мои соотечественники отрабатывают, так сказать, «по совместительству», то бишь по окончании основной службы. В конце рабочего дня, удлинившегося таким образом на 33%, человеку дай бог дотащиться до телевизора. Конечно, есть люди, которые читают. Но что именно? Например, специальную литературу: ведь на работе по совместительству требования строже, тут уж нельзя отставать от уровня, заданного конкуренцией. Читают и детективные романы — в качестве отдыха и развлечения — или научную фантастику: плохо ли из сумятицы нынешних времен заглянуть в светлое будущее! Или романы в картинках: текста в них немного, и они чем-то напоминают телепередачи, с той только разницей, что даже нет нужды выключать телевизор, книга сама вываливается из рук, когда засыпаешь.

Однако эти мои мысли вслух — всего лишь нагромождение банальностей, и для того, чтобы услышать их, не стоит прибегать к примеру Венгрии. Дотошные культурсоциологи во всех странах доказали, что мы приближаемся к новому виду неграмотности. Чтением занимается лишь очень незначительное число людей, да и те давно уже охотятся за информацией, а не за эмоционально-художественной встряской, а потому большим страстям предпочитают мелкие, но искусно подобранные факты. Интерес к художественной литературе среди венгерских читателей слабеет, зато немало увлекательных работ выпустили в свет за последнее время экономисты, социологи и историки. А между тем венгерская историография совсем недавно открыла для себя способ изложения, доступный и широкой публике, так что теперь видные профессора с удивлением наблюдают, сколь обширную аудиторию удалось завоевать их работам, посвященным всевозможным периферическим вопросам. Однако это радостное удивление тотчас переходит в другую крайность, когда выясняется, что на общественной арене время от времени появляются добровольные историки, которые вызывают на дуэль профессионалов, невзирая на ученые степени, должности и ранги последних. Ничего не попишешь: история заделалась ходовым товаром, а в таких случаях неизбежно оживляется конкуренция. Венгры в настоящее время приохотились к воспоминаниям.

Не впервые испытывают они это пьянящее увлечение. Некогда, в период буйного расцвета национализма, у нас тоже истолковывали всемирную историю таким образом, что мы оказывались в прямом родстве не только с Адамом или Ноем, но и Геркулесом. Нынешние мемуаристы, однако же, не строят подобных воздушных замков (хотя мода на такого рода сооружения пока еще не совсем исчезла в Европе). Прошла и мода на дегероизацию. Нам удалось постичь, сколь горек процесс, в результате которого мы сначала превращаем людей в кумиров, идолов, а затем низвергаем их в грязь с тем, чтобы впоследствии, подняв их и отмыв от грязи, вновь придать им человеческий облик. Теперешние новомодные историки чуть ли не козыряют своей достойной всяческих похвал объективностью. Единственное, на что им хотелось бы с помощью весьма деликатных аллюзий намекнуть читателю: предшествующие исследователи видели (и представляли читателю) то или иное явление в искаженном свете, и вот сейчас, мол, настал момент восстановить пошатнувшуюся было истину. Не будем ставить это в укор прославленным авторам, ведь без такой убежденности никто не взялся бы за сей поистине сизифов труд: в который раз заново пересказывать тот или иной эпизод, извлекая его из пыльных напластований истории. И скрещиваются воображаемые клинки, ведутся нескончаемые споры о том, действительно ли пыталась сохранить эластичность кожи, омывая себя кровью замученных насмерть крепостных девушек, некогда потрясшая своей жестокостью весь мир графиня Эржебет Батори, или же она пала жертвой концепционного процесса, затеянного претендентами на ее наследство.

Однако почтенной публике, разумеется, не безразлично, о чем именно «вспоминают» писатели-историки. Не так давно чрезвычайный успех вызвала книга Иштвана Барта, воссоздавшего трагический облик кронпринца Рудольфа, наследника Франца Иосифа. Эта незаурядная и в мировом масштабе история наделала шума уже в свое